

# Содержание

Маша . . . . .	9
Паяцы . . . . .	29
Заноза и Мозглявый . . . . .	36
Готланд . . . . .	48
Кэптен Морган . . . . .	58
Зной . . . . .	70
Берлин-трип. Спасибо, что живой . . . . .	105
Рафаэль . . . . .	118
Мы вышли покурить на 17 лет . . . . .	133
Дом . . . . .	160
Дача . . . . .	213
“Бывает, нагрянешь в родной город...” . . . . .	218
“...Когда из Невыразимого Ничто...” . . . . .	227
Меняла . . . . .	240



*Моей дочери Леночке посвящаю*



## Маша

**К**огда ты ушла от меня, точнее, не ушла, а просто оборвала телефонный разговор, словно оступилась и нечаянно выронила его из рук, и он, кувыркаясь, полетел вниз, как самоубийца с крыши, наш неудачливый разговор — ведь ты всегда так общалась со мной, будто вот-вот упустишь: пауза и короткая морзянка обрыва связи — “ту-ту”, а потом не дозвониться...

После того как ты ушла от меня, хотя подобное уже случалось, ты и раньше практиковала внезапные беспричинные уходы — из ресторана ли, посреди улицы, и при этом никаких объяснений, пару дней ищи-свищи...

Ты ушла, а я почувствовал, что нынче не репетиция, не блеф, и такой одинокий ужас навалился на меня — горячий, мокрый, телесный, точно обезумевший водный спасатель, тяжёлый, как сом, который вместо того, чтобы наполнить захлебнувшуюся грудь

воздухом, наоборот, резким своим вдохом сплющил мои лёгкие, словно бумажный пакет, и мне показалось, что я обмираю, обмираю, обмираю...

Такое осыпающееся тленное состояние. Наверное, я обмирал и в прежние разы, но ты возвращалась, и я, как разрешившаяся счастливая роженица, на радостях сразу и напрочь забывал то поверженное состояние.

Ты ушла по телефонным проводам, не перезвонила ни через день, ни спустя неделю. И в этот миг — причудливый временной феномен: неделя, упакованная в миг, — я понял, что действительно всё кончено. И семеро минувших суток, точно расколдованные трупы, вздулись, лопнули и разложились на тысячи рыхлых мучительных минут.

Однажды я терпеливо, как боевой радист, выкликал твой номер три часа кряду — гудки, гудки. Я слал тебе смс. Грубые: “Ты — блядская сука!” и нежно-беспомощные: “Любимая, объясни мне, что произошло?!”

Я пытался достучаться до тебя в твоём ЖЖ — отхожее женское местечко, сортир амазонок, для Ж и Ж, — но ты прилежно выполола мой комментарий, а меня “забанила” (вывела босого в исподнем за бревенчатую чёрную баню и прикончила в мягкий затылок).

Я намеревался тебя караулить у твоего подъезда — внутри дома было не попасть, подступы к лифту стерёг грудастый, бабьей породы консьерж, — но благоразумно отказался от этого намерения: боялся, что ты придёшь не одна, а с другим мужским существом, подобно мне, практикующим письменное искусство.

Как младенцы тащат в рот всякую манящую дрянь, так ты затащила меня в свой дом на пробу — увела из книжного магазина, где я самовлюблённо и испуганно презентовал очередное бумажное чадо.

Я тогда только приехал в Москву. Сам я считал, что на заработки. Первые ноябрьские холода превратили работу в погодное явление: белёсые и похрустывающие ледком под ногами заработки стали заморозками.

Бездомный, я прожил три дня в издательском офисе, а после снял нищий угол возле метро “Тёплый Стан” — двойное название вскоре слиплось в засахаренный сухофрукт, в среднеазиатскую мигрантскую географию: узбекистан, кыргызтан, тёпыйстан...

Низкорослая, как девочка, загребущая хозяйюшка вытянула из меня восемь тысяч за комнату, в которой отсутствовала дверь — вместо неё ниспадала отставная штора, а окно занавешивала пыльная гардина, похожая на исполинский бинт. Письменного стола не было, и поначалу я ставил ноутбук на подоконник, пристраивался, искривлённый, бочком. Позже пересел к мебельной стенке. Дверца стенки, подобно замковому мосту, открывалась горизонтально вниз. Я приспособил её вместо стола. Она была узковата, дверца, на ней помещался лишь ноутбук, а места для мыши почти не оставалось; при неловком движении я скидывал мышь локтем, и она трепетала на шнуре, словно висельник.

В жёлтой, маргаринового оттенка стене над диваном торчали три голых гвоздя — плоские, как беско-

зырки, вершины равнобедренного треугольника, — когда-то удерживали картины или фотографии. Щелистое окно комнаты сквозило. Я безуспешно конопатил его, но окно всё равно цедило ментоловую стужу.

У меня почти сразу появилась писчая работа: за пятнадцать тысяч рублей я слагал колонку для раз-в-месячного журнала. Управлялся с ней в несколько дней, на скорую руку муштровал и школил слова, собирал глянцевою колонну и гнал на убой редактору. В остальное время высиживал новую книгу. А выходные вечера я проводил с тобой. И так четыре месяца кряду.

Ты прекратила нас накануне Восьмого марта. Кто-то из журнальных шапочных знакомцев бесчувственно шутил (каюсь, я всем и каждому жаловался на тебя, напрочь обезумел), сказал: “Чудесная подруга. Тебе не придётся тратиться на мартовский презент”, — так говорил мне, я бессильно улыбался шапочному дураку, а душа ныла, точно больной зуб.

Я сделался каким-то подкошенным и порожним, казалось, моя грудная клетка на мартовском ветру шелестит и хлопает полиэтиленовой пустотой. Что-то случилось с походкой, я потерял степенность, меня кружило, как сорванную афишу, я дёргано оглядывался по сторонам, будто нянька, потерявшая ребёнка...

Стал таким суетливым, беспокойным. Вздрагивал от любого резкого — даже не звука — движения. Однажды со стула на пол съехали мои брюки. Этот почти бесшумный, но неожиданный поступок одежды едва не выщелкнул сердце.



На меня, подранка, вмиг ополчились стихии природы и санитары городского леса. Редактор, чуя во мне творческого инвалида, впервые погнал прочь колонну моих рекрутов — не подошла колонка. Переписал проклятую — снова не подошла — на тебе! на! Обманул, до слёз бессовестно надул издатель — на! на! Хозяюшка взвинтила прайс за штору до десяти тысяч — не нравится? Вот бог, а вот порог!..

Ко всеобщей пастернаковской травле подключилась моя иногородняя вторая половина — та, ради (из-за?) которой я уехал на “заморозки”. Позвонила. Не знаю, каким инстинктом поняла, что нужно затапывать и добивать: “Подонок! Ты нас бросил!” — в таком тоне она со мной ещё не говорила. А рядом с ней, я слышал, плакал и тосковал мой сердечный ребёнок, мой крохотный сынок, и просил: “Мама, мама, не кричи на папу!”

Не помню, что я отвечал, вроде возражал: “Я в Москве не «поёбываюсь», как ты выразилась, дурочка, а работаю!”

Половина закончила плачущим воплем: “Чтоб ты сдох, пидор!..”

А я вовсе не обиделся. Брань потеряла прежний смысл. Ну, пидор. С тем же успехом половина могла обозвать меня, допустим, вратарём: “Чтоб ты сдох, вратарь!”

К началу второй недели твоё отсутствие перестало быть дыхательно-сосудистой проблемой. Тоска перекинулась на кости. Нервически скулили рёбра, будто через каждое пропустили вёртку проволоку. Чтобы

заснуть, я хлестал валокордин — мятное старушечье снадобье. Оно помогало забыться на пару часов. Каждое утро начиналось жаром — меня словно бы всего обкатывали горящим спиртовым комом, и мне казалось, что я не просыпаюсь, а тлею единственной мыслью: ушла моя белокурая, моя мэрилиноподобная...

Вначале я попытался противопоставить тебе алкоголь. Здоровье отказало мне в этом тихом утешении. Двенадцать перстов язвы всем своим апостольным числом ополчились на меня. По утрам изжога разводила инквизиторский костёр в пищеводе и мне казалось, что я отрываю горячие угли.

От одинаковой, как тюремная стена, тоски по тебе я утратил способность к труду.

Когда-то шустрые мои пальцы разучились обрабатывать, вытачивать берёзово-карельские слова — то карю аминь. У меня конфисковали колонку.

В наваждении и умственной разрухе прошёл месяц. А потом я стал удалять тебя, как осколки. Стёр былые смс, выпотрошил из ноутбука фотографии. Прекратил ежечасные экскурсии в твой журнал — вычитывать, не подыскалась ли мне замена.

Ты меня подкосила, обезножила. Но пришла пора становиться на протезы, танцевать “калинку”, искать колонку.

Для начала вздумал прибраться в комнате, вооружился хозяйским пылесосом. За вековым диваном в залежах пыли обнаружился мерзкий артефакт от прежнего жильца — использованный презерватив невиданного чернильного цвета, похожий на оторванное

осьминожье щупальце. Пылесос храпел, точно конь, пока давился резиновой падалью.

Но стоило ли дальше позволять, чтоб на твоей блондинистой пу-пу-пиде свет сходилась клином? Я снова сел за книгу и начал строить планы на Марию.

Ты её застала. Помнишь Машу? Трогательное и угловатое пугало из гугла. Появилась с письмецом в моей почте, когда мы с тобой ещё были в разгаре.

Признаюсь, ты была невыносимо трудной. Театральной сцены не принимала — ни драмы, ни оперы. Кино не любила. Ничему не радовалась. Разве правильно расставленным на бумаге словам. Тебя мог развлечь какой-нибудь жестокий глумливый цирк. Арена, на которой творится унижение неказистого маленького человека.

Ты заранее решила, что эта Маша некрасивая. Мы вдоволь насмеялись над невидимой. Она, понимаешь ли, разжившись моим мейлом, прислала стихи. Так забавно написала: “Здравствуйте, аметистовый. Я ваша почитательница. Что означает — почитываю и чту. Мой сладостный, мне важно ваше мнение...”

Ты обсмеяла эти полудрагоценные аметистовые комплименты и Машины вирши — они были тягучие, многоударные, как шаманский бубен, изобиловали натужными метафорами.

Маша рифмовала пейзажи: небесные светила с осадками, зелёные насаждения с наслаждениями:

Земля в объятиях бетонного корсета.

Истерзанной листвой асфальт окрашен,